

В. Ф.
ОДОЕВСКИЙ

Избранное



Владимир Федорович Одоевский

Живописец

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=645575
Владимир Федорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

Аннотация

"– Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но замечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слышали о Шуйском?..

– Никогда, – отвечал я, – но я готов идти с вами.

– Так! Участь этого человека быть неизвестным; но по крайней мере он начнет жить после смерти; может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию. Неужели и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?.."

Содержание

Владимир Федорович Одоевский Живописец

Из записок гробовщика

Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьяча, вошел мастеровой:

– Пришли от Данила Петровича.

– Зачем? – спросил хозяин.

– Да за гробом.

– Кто у них умер, уж не жена ли?

– Нет, Данила Петрович сам изволил скончаться...

Мартын Григорьяч всплеснул руками:

– Может ли это быть? Бедный! Давно ли мы с ним виделись?.. Такой талант! Такое сердце!

– Просят дощатого гроба подешевле, а у нас такого нет, – прервал его хладнокровно работник.

– Неси какой есть готовый, не твое дело... Бедный, бедный Данила Петрович!.. – С этими словами он взял шляпу и сказал мне: – Хотите ли поклониться праху

незнакомому вам, но замечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слышали о Шуйском?..

– Никогда, – отвечал я, – но я готов идти с вами.

– Так! Участь этого человека быть неизвестным; но по крайней мере он начнет жить после смерти; может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию. Неужели и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?..

– Я никогда не видал ни одной его картины...

– Не мудрено, потому что у него не было ни одной конченной; но пойдем в его мастерскую, и вы уверитесь, что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился; он был очень, очень беден, но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он бросил на полотно нетерпеливою кистью, того я вам пересказать не сумею... Вы сами увидите...

Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Бледный труп его лежал на простых досках; на лице его еще остались следы внутреннего, недавно погасшего огня; черные волосы лентами струились с прекрасно образованной головы; но все было искажено, запятнано смертью; его покрывало едва держащееся рубище; вокруг были разбросанные краски, палитра, кисти; на огромной раме натянутое полотно; оно невольно приковало мое внима-

ние; но на холсте не было картины, или лучше сказать, на нем были сотни картин; можно было различить некоторые подробности, начертанные верною, живую кистью, но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой; полустертая голова фавна выглядывала из-за готической церкви; на теньеровском костюме¹, набросана фигура мадонны; сметливый глаз русского крестьянина был рядом с египетскою пирамидою; водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры – все это было перемешано между собою на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками, – и ни в чем не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно даже было уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очерками... других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышавшимся...

– Ах, не говорите, матушка, – повторял один жен-

¹ ...*теньеровском костюме*... – Теньер (Тенирс) Давид Младший (1610–1690) – фламандский художник.

ский голос, рыдая, – я, я убила его!..

– Полно, полно! Что с тобой? – отвечал другой, женский же голос. – Что ты на себя клеpleшь! Полно, полно горевать. Еще молода, мать моя, – другого мужа найдешь.

– Нет, не нажать мне моего Данила Петровича!

– Полно, говорят тебе, слезами не поможешь, да я что правду сказать: счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в нем пути-то было?..

Вдова не слушала, а только, повторяла свое:

– Я убила его; он сам говорил, сердечный: ты убьешь меня... Я точно убила его!..

А та отвечала:

– Полно на себя клепать! он просто занемог, да и умер...

Эта сцена продолжалась довольно долго: жалобы с одной стороны, утешения с другой; наконец последние превозмогли; казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову, по крайней мере она успокоилась. Мой товарищ хотел навеститься к ней; но дверь отворилась, и от вдовы вышла женщина пожилых лет, в крепко накрахмаленном чепце, с веселым и добродушным видом.

– Ах, это ты, куманек! Добро пожаловать; а что, ты к ней, что ли? Ну, уж лучше не ходи, – пусть ее заплачет досыта; авось-либо, Бог милостив, поплачет,

поплачет, да и перестанет; а денька через два-три как рукой снимет. Помоги-ка мне лучше отдать последний долг покойному. Сердечный! Сердечный! – прибавила она, посмотря на бледное, искаженное страданиями лицо молодого художника. – Не умел жить на сем свете. А это кто, батюшка? – продолжала она, взглянув на меня с любопытною улыбкою, которая не мешала ей отирать слезы...

– Это мой подмастерье, – отвечал Мартын Григорьич.

Я поклонился.

– Никогда еще у тебя не видала, почтенный...

– Недавно поступил, Марфа Андреевна.

Она взглянула на меня с тоном покровительства и продолжала свой разговор. Во все время печальной церемонии и потом, возвращаясь к себе домой, куда мы, перемигнувшись, пошли ее проводить, Марфа Андреевна говорила без умолка; из слов ее я скоро узнал, что она богатая мещанка и занимается скорняжеством, то есть шьет шубы. Мы скоро познакомились; я ей полюбился, она мне рассказала всю жизнь живописца; некоторые ее фразы уцелели в моей памяти; постараюсь передать их, как умею.

– Так вы, Марфа Андреевна, хорошо знавали Данила Петровича? – спросил я...

– Эка, батюшка, видно, ты молод, уж мне не знать

Данила Петровича! Не только его, да и с батюшкой его хлеб-соль важивала, да и бабушку-то его знавала, – такая была из себя видная, здоровая, – помнишь, бывало, торговала в Бабьем ряду... да где тебе помнить! Ах, горемычный, горемычный Данила Петрович! Верно уж ему так было на роду написано. Да и то правду сказать, всегда беспутный был; а кто виноват? Отец баловал. Отец был зажиточный человек, в Панском ряду на сотни тысяч торговал, – вот и Мартын Григорьевич его знавал. Он, бывало, сына в ряд, а тот и руками и ногами: "Пусти, батюшка, в живописцы, пусти, да и только"; а старик-то сглупа, чем бы его себе приготовить в подмогу, послушался, да и отдал в ученье к какому-то немецкому живописцу; да, бывало, еще шутит покойник: "Хошма, говорит, у меня теперь вывеска на лавке будет даровая". Не дождался он вывески от сына, а только обанкротился, да с горя и Богу душу отдал. А сынок-то остался гол как сокол, а себе и ухом не ведет; да туда же спесив: жил, жил у немецкого живописца на квартире на всем готовом, одет, обут, да низко показалось, не ужился; вишь ты, жаловался, будто немецкий живописец – не припомню его имени, прах его возьми – заставлял его на своих картинах рисовать, его работу за свою выдавал, а его начал с пути сбивать. Да! важное дело! Да если бы и так, то что за беда. Известное дело – мастерство: молодой человек

сперва на других поработай, а там на себя. Вот и ты у Мартына Григорьича живешь, неужли ты станешь ему указывать: "Вот эту доску я состругал, вот этот винт я привернул, а не ты..." Говорю тебе, совсем беспутный был. Прибежал ко мне, с три короба наговорил, и все свысока. Я ничего не поняла: "И что я-де теперь, матушка Марфа Андреевна, буду на воле работать, на себя, и вся публика-то, все господство-то меня узнает, и картину на выставку-то поставлю, золотом-то я все сундуки отцовские засыплю... и я-то буду художник". Сердце мое чуяло недоброе: "И впрямь ты будешь гудошником²", – сказала я ему, смеючись, а он рассердился: вишь, будто я не могла и понять-то его! Я было, чтобы помириться, ему 10 целковиков в руку, а он на стол их бряк – так разгорячился, мой батюшка; только и твердит: «У меня талант, у меня талант». Ну, подумала, посмотрим, какой тебе талант на роду написан: не увидим, так услышим.

Вот обзавелся он, горемышный; где-то лачужку сыскал на Выборжской стороне и написал вывеску: "Живописец Шумский"; так и думал, что вся публика к нему разом и соберется. Не тут-то было: где-где придет к нему какой-нибудь сиделец-выскочка³ вывеску

² ...гудошник – здесь это слово употреблено в значения «обманщик».

³ Сиделец – лавочник или приказчик, торгующий по доверенности купца – владельца лавки.

написать.

Только он еще кое-как перебивался. Но как на беду попадись ему на улице смазливая девочка. Слово за слово, узнал, что она сирота, ну приставать: "Поди ко мне мадели делать". Та ему в ответ: "Я-де, батюшка, только на кухне кое-что стряпать умею, а никаких маделей никогда не делывала". – "Нужды нет, уж я тебя выучу". Девке только что отказали от дома, деваться ей было некуда, – из одной квартиры к нему пошла.

Вот, что же, батюшка! Привел он ее к себе, да и ну с нее патреты рисовать – очень нужно кому! Да еще какой, слышь, бесстыдник: и так ее поставит, и сяк; то руку поднимет, то опустит; впрочем, говорят, так по их искусству надобно! – это дело не мое, кто их знает... Как бы то ни было, но только он писал, писал ее, да и вышел грех; вестимо дело: он парень молодой, она девка смазливая, дошло до того, что уж ей стыдно было в люди показаться. Он, нечего сказать, человек был честный, покойник, говорит: "Мой грех, мне и поправить". Вот они женились; живут, друг другом не нахвалятся; она девка умная, хозяйство завела; пожили немного – глядь, то хлебник, то мясник за долгом придет, то хозяин за квартиру просит, а кошель-то пуст-пустехонек. Бедная баба и туда и сюда, как бы работу сыскать, а он, покойник, не тем будь помянут, и ухом не ведет. На его счастье Сидор Иванович дочь

замуж отдавал, – купец богатый, почтенный, хотел все дело по порядку исполнить, приданое приданым, а к тому же захотел с дочери да с зятя патреты повесить у себя на дому. Позвал Данилу Петровича, говорит: "Вот тебе сто рублей, а как патреты напишешь, так еще сто рублей дам, только схоже напиши". А Данило Петрович ему: "Уж это-де мое дело, так-де напишу, что от настоящего не узнаешь". Вот Сидор Иванович – купец богатый, вестимо дело, хотел похвастать, – надел на свою Дунюшку и бралаиантов, и жемчугов, и подборов, и подвесок, не только матушкиных, но что и от бабушки да прабабушки досталось, чтобы, дескать, все видели, что не нищую замуж выдает; как вошла, так индо в комнате засветлело, даже Данило Петрович остолбенел. "Ну, – говорит отец, – рисуй, как знаешь; но только так, чтоб подвески спереди, да и гребень сзади был виден". Что же Данило Петрович – ах, беспутная головушка! – как закричит себе: "Что это вы красавицу изуродовали! Она молода и свежа и собой хороша, что ее, как коломенскую куклу, мишурой-то убирать?" А какая мишура: все жемчуг да бралаианты... "Долой, – говорит Данило Петрович, – и подборы, и подвески, и гребень, все-де это портит ее натуру", – да как распустит ей косы по плечам, и стала Дуняша словно русалка, а Данило-то храбрится: "Вот уже, говорит, патрет напишу, так всему свету на

удивление будет". Только старик не тех мыслей был. "Нет, говорит, не дам над моим детищем издеваться, не на смех ее писать, словно какую актерку трепаную, а видно ты, Данило Петрович, своего дела не разумеешь, коли жемчугов да бралиянтов не можешь списать; хоть одного зятя мне напиши".

Данило Петрович прикусил язычок: "Ну, давай, говорит, зятя". Привели зятя; надо тебе знать, что зять был человек чиновный, копиистом служил; ну, разумеется, также похвастаться хочет, принарядился, праздничный мундир надел. Данило Петрович и руками и ногами: "Не умею мундиров писать!" – стал на том, да и только. Тут уже купец рассердился, да и сказал Данилу Петровичу: "Ступай же, – сказал он, – куда знаешь, коли своего дела не разумеешь, а мы тебе не пешки дались". А Данило-то, чем бы спасовать, выкинул на стол сто рублей, да и поминай как звали. Так и не впервые было. Что ему ни закажут, все перехитрит, к стене не прислонишь; меж тем дома и холодно и голодно. А Данило, чем бы горю помочь, сидит у себя в нетопленной комнате, мажет по холсту каких-то нехристей, да песенки попевает. Вот, немного погодя, на него стало находить: бродит, бродит день-деньской, да и уставится против старой стены, смотрит на нее то с той, то с другой стороны: вишь ты, представлялись ему какие-то фигуры на стене; сосе-

ди узнают, домой приведут, а он свечку зажжет, да всю ночь и марает по стенам – индо смотреть страшно – все стены испортил. Вот жена к нему придет: "Полно, Данило Петрович, свечи-то палить; мало тебе дня? Ведь свечка-то гривну стоит". А он осерчает, закричит. "Ты убьешь меня", – да и только. С таким изделием немного наживешь; вот он, сердечный, не ест, не пьет, только и твердит: "Вот погоди, найду, непременно найду". Чего уже он, клада, что ли, искал, не могу тебе сказать, только он со дня на день худал; что ночью намажет, то днем сотрет; в дом ничего, а из дома то и дело, то мебель, то платье продаст. Жена его станет резонить, а он только и твердит: "Ты убьешь меня". Поди толкуй с ним! Так они пожили немного-недолго, – не осталось в доме ни синего пороха. Видит, нечего делать – поугомонился, пошел по гостиному ряду спрашивать: нет ли где вывески подновить? Насилу поверили, таким он безумным казался. Подновил вывески две-три, другой работой забрался – зашиб копейку, и опять гордость напала. Раз вот осенью ушел из дома с раннего утра, невесть где целый день протаскался; уже после узнали, что он до Парголова доходил. Вот уж и вечер, вот и ночь, вот уж и рассветать стало, – дождь между тем ливмя, а Данила нет как нет. Жена всполошилась, бегать – туда, сюда – где! И с собаками не сыщешь; уж к утру воротился – весь измоченный, –

сухой нитки нет, бледный, и, словно полоумный, кричит: "Нашел, нашел!" А глаза-то у него так и горят; выхватил из-под мышки холстину, натянул на раму и тут же, не раздеваясь, ну на ней какую-то ладонную, что ли, писать. К вечеру прохватил его озноб. "Что, говорит, жена, кабы кофею сварить?" Той уж стало невтерпеж; она ему в ответ: "Какой тебе кофий – и хлеба в доме нет; вишь, от тебя ни шерсти, ни молока, да туда же кофею просишь!" Замолк Данила Петрович, опять за мазилку, пописал недолго, да и свалился на пол, как сноп. Подняли, положили на постель, всю ночь бредил. Вот лекарь пришел, – еще, на счастье, добрый человек, – то тем, то другим – через недельку оправился. "Ну, – лекарь говорит, – ты вышел из беды, Данила Петрович; только смотри, не оплошай; еще ты опасен, с постели не вставай: и за работу не принимайся". Все обещал; жена как-то отлучилась, – приходит, а муж сидит за картиной, руки дрожат, еле не падает. Подняла его, уложила, прикрикнула; но что делать с безумным! День послушается, а на другой опять за свое, – индо лекарь отказался. Однако ж Бог помог – оправился. Смотрит – в доме все чисто; последнее платье заложено – выйти не в чем; а ему и горя мало. "Незачем, говорит, теперь по улицам бродить", – и сидит за своей ладонной да малюет. Меж тем жена плачет да горюет: пошла по знакомым, про-

ведала как-то, что в околотке мелочную лавку заводят, отыскала хозяина, уластила, вот он приходит, заказывает вывеску, дает в задаток рубли два-три: "Да смотри, говорит, ты, маляр, у меня вывески не задержи; мне скоро ее надобно: лавку скоро отделают; да смотри появственнее да поглянцовите напиши, и чтобы все на ней было, и сахарные головы, и банки с вареньями, и сыр голландский, и яблоки, и ряпушку копченую повесь, чтобы всякий-де видел, что-де все есть, чего душа ни пожелает; пожалуй, не задержи, а то другому закажу". Данила Петрович взял деньги, да и: посмеивается: "Будь благонадежен, говорит, уж так тебе вывеску напишу, что, на нее глядя, и самому есть захочется".

"Ну, говорит, жена, слава Богу! Деньги есть, и работа есть, только краски нужны; сходи купи; знаю, что дорого, да нечего делать, без них нельзя вывески написать; вот тебе записочка". Жена сдуру послушалась, пошла, купила: дали ей три скляночки, почти все деньги истратила. Пришла – обрадовался Данила, схватил краски, да чем бы за вывеску, – опять за свою ладонную. – Прошел не день, и не два, – приходит купец за вывеской – куда! – ее и в половине не было. Он к Даниле: "Давай вывеску или деньги подай!" Оно и дельно – ему было завтра лавку открывать. Данила туда, сюда, "Все брошу, говорит, в один

день напишу..." Хвать – холста нет; купить не на что... Купец говорит: "Не дам ни копейки, опять обманешь". На крик собрались соседи, жена плачет, разливается: "Нечего греха таить, – вопит горемычная, – хоть вы прислушайте, добрые люди; мне уж с ним не сладить, вконец дом разорил..." Вот соседи стали его укорять: "Что ты за маляр, что и холста не имеешь? Купцу что за дело: он задаток дал; вот ведь натянута холстина, – ну и пиши вывеску, чем вздор-то малевать, а слова не исполнять".

Долго слушал Данила Петрович и молчал, словно рыба; но как услышал последнюю речь, пригорюнился. «Вы правы, говорит, точно правы: слово дал, надо исполнить»; схватил кисть, замарал всю картину и ну малевать сахарные головы; к другому утру вывеска была уж готова; купец, добрый человек, не помянул лиха, поблагодарил, да на столе беленькую оставил. Жена не нарадуется, побежала скорее на рынок и кофею купила, чтоб только мужа потешить; приходит домой, смотрит – а он на полу, и трясет его лихорадка. Скорей за лекарем, да уж, видно, поздно: месяца два бедный промаялся, да и Богу душу отдал. Отчего уже это ему приключилось, не знаю; лекарь толковал, что прежняя болезнь опять пришла!"

– А где же вывеска-то? – спросил я у рассказчицы...

– И, да кто ее знает! Говорят, и лавочка-то обанкротилась.

Здесь мы приблизились к дому, и я, распроставшись с Марфой Андреевной, пустился отыскивать предсмертное произведение несчастного; я узнал имя хозяина лавочки, имя того, кто купил вывеску с аукциона, кому перепродал; наконец мои искания увенчались успехом: на Щукином дворе, посреди ржавого железа я отыскал наконец вывеску Шуйского – ее смыло дождем!